

ужаснул его...

Надо полагать, я затем слишком тихо шел, потому что опоздал к назначенному часу: студенты, давно собравшись в аудитории, беспокоились, приду ли я. Меня проводили сначала на третий этаж, в профессорскую, там познакомили с директором института, и вместе с ним я отправился вниз, во второй этаж.

— Вы знаете, что помещалось в этом здании прежде?—тоном любезного хозяина спросил директор на лестнице.

Я чуть-чуть приостановился, улыбнувшись. Чугунное узорчатое литые ступеней, стертые до зеркальной гладкости около перил, скользило под ногами, отражая наши движения. Ближе к стенам орнамент тяжелых плит был еще ясен, и как чудесно я помнил его лоснившиеся от масла выпуклые завитушки!

— На этой площадке,—проговорил я, слегка придерживая хозяина за руку,—я выстаивал целые часы: мать приводила меня сюда на «стояние» — слушать двенадцать Евангелий. Мы стояли со свечами, которые гасились в промежутки между чтениями Евангелий, и мы скатывали в пальцах маленькие шарики из воска и наклеивали на свечку после каждого Евангелия, чтобы не сбиться со счета—сколько прочитано. И большую хитрость составляло стрельнуть вниз восковым шариком какому-нибудь мальчишке в затылок так, чтобы никто не заметил.

— Я понятия не имел, что тут была церковь.

— Ну, какая же духовная семинария без собственной Домашней церкви?

— А почему вы стояли на лестнице?

— Церковь была вон за той дверью, в большом зале...

— Там сейчас ждут вас студенты.

— Да, да, идемте... Так вот, в церкви стояли рядами семинаристы, в черных сюртуках до колен, позади них — профессора, начальство в рясах и без ряс, а в раскрытых дверях и здесь, на лестницах, — разный пришлый народ. У самой двери, рядом со свечным ящиком, всегда стоял инспектор семинарии. О нем я рассказал бы вам, да надо идти.

Что рассказали бы?

— Что рассказал бы? — переспросил я, спускаясь еще на один марш и останавливаясь у двери налево. — Тут был рекреационный зал с гимнастической кобылой для попovichей, с брусьями и трамплином, лестницей, турником. Дальше шли коридоры, и отжившие век доски были нахлобучены над дверьми: «третье отделение философское», «второе богословское». А в конце коридоров находилась уборная, и она была вождеденнейшим апартаментом всех семинаристов, в ней пылало угольями семинарское сердце. И должен вам сказать: нигде за всю свою жизнь не видывал я таких украшений на стенах, как в этом апартаменте духовной семинарии. Украшения состояли из самой срамной хулы на господа бога, который, конечно, даже на Лысой горе не мог бы вкусить подобного позора. Это были псалмы, стихиры, акафисты ругательств, и все они испещрялись заставками и титлами, каких не отыщешь ни в одной книге арабских сказок. Но, знаете ли, господу богу семинаристы приносили в жертву не самое дорогое, что у них было. Истинный Синай похабщины и поношений они воздвигали инспектору семинарии. Надписи и посвящения делались не только карандашами, чернилами, красками, они не только писались на штукатурке, они выцарапывались, резались сотнями орудий, они вырубались, выгрызались на дереве косяков, порохов, на металле запоров, на камне подоконников. Наверно, каждое посещение этого мрачного жертвенника семинаристом не проходило без того, чтобы он где-нибудь не изобразил бы графически хотя бы скромное проклятие своему обожаемому инспектору, — так было все перенасыщено здесь свистопляской ненависти к нему и оголенного бесстыдства.

— Что же за создание был этот инспектор?

— А вот он пребывал при дверях, около свечного ящика, с виду вполне обыкновенный, не высокий и не полный, в форменном сюртуке синодального ведомства, и когда семинаристу бывало нужно выйти из церкви, требовалось приблизиться к нему и попроеить разрешение. Инспектор выпускал семинаристов поодиночке, чтобы больше одного туда, в апартамент, никогда не попадало. Надзор был его священным долгом, но кроме того и слад-

чайшим призванием. Он был птицей, все видящей сверху.

Годами, днем и ночью, семинаристы чуяли над собою дуновение крыл этой птицы, и уже гоголевскими бородастыми молодцами, которые должны были вот-вот жениться на поповнах и ехать по деревням — отпевать да обстригать мужиков,— все трепетали перед инспектором и все выискивали на заветных стенах живое местечко и для начертания новых неизреченностей.

Мы подошли к главному входу в зал.

— И однажды,— сказал я, опять сдерживая шаг,— в праздник, после обедни, когда инспектор повернулся к порогу, чтобы уйти из церкви, один семинарист, у всех на глазах, всадил ему в спину нож и убил наповал. Вот па этом пороге, лежа ничком, инспектор закончил свою надзирательскую карьеру.

— А семинарист?

— Семинарист обернулся к перепуганным однокашникам и произнес: «За вас за всех, товарищи, как мог, не обесудьте!..» Я знал этого семинариста: он был худенький, с синевато-молочными скобками под глазами, желтоволосый, наверно туберкулезный. Вряд ли он дотянул свой срок на каторге. А семью его, помню, нещадно доносили всякие властишки.

|| Вон что вам известно об этом доме!—сказал директор института.

— Да, мне известно о нем немало,—подтвердил я и должен был с этими словами нагнуться ближе к уху собеседника, потому что мы уже входили в зал и гул студенческих приветствий быстро захватывал емкое, слегка простеганное солнцем пространство.

Нам надо было пройти из конца в конец зала, и, пока мы двигались, волнение росло и выносило меня, словно на лодке, из мертвой зыби воспоминаний к настоящему. Студенты устали дожидаться и теперь все свое нетерпенье переливали в довольный шум.

Так я дошел до возвышения со столом, покрытым красной скатертью, и оттуда вдруг опять ощутил, как недавно в школе, какое-то физическое касание взглядов, льющееся точно свет. Я взошел на кафедру, огляделся, увидел у себя над головою большой свод арки и понял, что это—алтарь бывлой семинарской церкви, что кафедра стоит на месте «царских врат», и я на кафедре—лицом к амвону, лицом к семинаристам. Это была последняя молния воспоминаний, и когда, огненно мелькнув, она погасла,—меня обдало теплом слитное, еще не успокоившееся дыхание ожидающей аудитории, и я сказал:

— Я вам прочитаю свой рассказ...